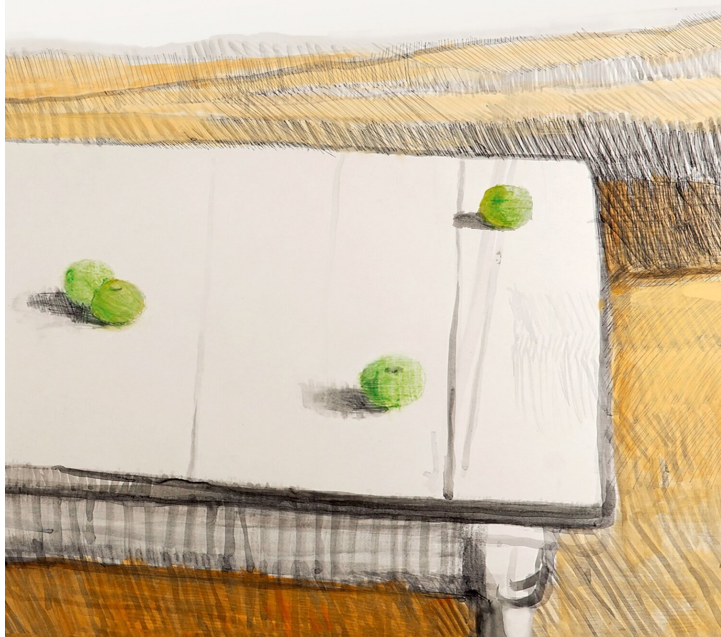


Анастасия Коваленкова

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

Повествование в портретах



Анастасия Коваленкова
Хорошие люди.
Повествование в портретах

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67640309

Хорошие люди. Повествование в портретах: Никая; М.; 2022

ISBN 978-5-907457-41-6

Аннотация

Повесть «Хорошие люди» – повесть о русском народе. Русский человек – он и мудрый, и бестолковый, и добрый, и угрюмый порой... разный он. Но есть у него удивительная черта: даже в самых страшных условиях сохраняет он свет в душе, а уж коли теряет, то мучается томлением, ищет, страждет этого духовного Света. И ещё чудесное качество есть у русских людей – неунывальчатые они! Любят жизнь, бранят её, сами плуτούν, а всё же любят. И землю свою терпеливую любят.

Хорошие люди.

Содержание

К читателю	5
Интерлюдия. Песня	7
Глава 1. Толя ещё будет	11
Интерлюдия. Костры	21
Глава 2. Пираты оврагов	25
Интерлюдия. Ростки	32
Глава 3. Ласточка	36
Интерлюдия. Листва	58
Глава 4. Вася Стаканчик	62
Интерлюдия. Туман	67
Глава 5. Ружьё	72
Интерлюдия. Птицы	81
Глава 6. Без Зинки	85
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Анастасия Коваленкова

Хорошие люди.

Повествование в портретах

– А теперь скажи мне, что это ты всё время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?

– Всех, – ответил арестант, – злых людей нет на свете.

М. Булгаков. Мастер и Маргарита

© ООО ТД «Никея», 2022

© Коваленкова А.С., 2022

К читателю

Повесть эта началась 47 лет назад. Тогда, когда мне было шесть лет, в те дни, когда я, маленькая, ощутила «круглый уют» моей родины, в то время, когда я почувствовала себя под защитой хороших людей. Это было в деревне Жевнево, в трёх километрах от подмосковной станции Снегири. И уже тогда мне было горько уезжать в город.

Много деревень я повидала с тех пор. У меня появился и свой дом под Переславлем-Залесским. И здесь, в Яропольцах, меня вновь окружают хорошие люди.

У них, у тех, у этих, я училась сажать огород, косить, топить печь, солить огурцы.

У них я училась быть сильной, смиренной, громко петь, тихо трудиться, отстаивать себя и прощать всех.

Когда я выросла в автора, люди стали собираться в образы. И начали говорить во мне. Это не документальные герои, это – портреты, слагаемые из многих лиц и судеб. Это портреты моего народа.

А вот как писалось повествование: оно нанизывалось, как бусы на нить, с крупными камнями, камешками и замком, соединяющим всё воедино.

Сперва, будто крупные камни, нанизались на нитку текста портреты-судьбы. И они стали главами.

Потом появились «интерлюдии» – маленькие камеш-

ки-архетипы, то, среди чего живут мои люди.

Ведь Песня, Вода, Дом, Снега, Костры, Листва, Птицы, Простор, Яблоки, Простота, Берёза, Дороги – это и есть наша страна.

Эти «интерлюдии» легли между «людьми», оказались на той же нитке, создав пространство. Оставалось найти замок для бус моей повести.

А таким замком стал эпилог, последняя глава, где я, шестилетняя, узнаю, что живу в «круглом уюте», где понимаю, что не только моя деревня, а вся страна вокруг населена родными людьми. Которым я своя, которые и приласкают меня, и отругают запросто, как свою. Которые защитят меня от беды и которых я готова защищать, как смогу. Словом и делом. Потому что это мой народ. Это хорошие люди.

Коваленкова

Интерлюдия. Песня

Трудно человеку начинаться весной. А приходится. Сызнова, с самого начала приходится.

Потому как за зиму всё поистратилось.

Да и всему живому трудно. Вон ветка: каково ей, холодами обветренной, шершавой, – выпустить почку и родить лист?

А птицы? Те, что переголодали, а всё же дожили до тепла? Где только они силы взяли?

Идёшь по лесу, среди всех них, среди веток, птиц, и чувствуешь себя самым негодным. Они уже смогли, начались. Маленькие, но справились, отряхнулись, зажили. Уже поют. И только ты один – несуразный.

Спросишь себя: «Чего тебе надо?» И стыдно сказать, потому что ерунда это вроде...

А надо тебе песню, свою песню тебе надо.

Станешь в памяти искать, чтобы хоть негромко, но спеть.

Загадочная это штука – песня человека. Сквозь столько времён прошли они к нам, русские эти песни. Припомнишь их, грустные все, протяжные. Зачем, зачем они у нас такие? Их не убили революции. Даже пластиковые времена с ними не сладили. Ты идёшь сейчас, сегодня – вон они, в кустах лежат – прозрачные пустые пластиковые предметы... А тебе

нужна песня.

И забрезжит в голове что-то про ямщика, но не про того, что замерзал в степи, а про другого, что пел какую-то там... унылую песню. И сбиваясь, путаясь, зазвучит в голове:

«...дорога пылится слегка, и... та-та-та... по ровному полю разливается песнь ямщика. И... сколько грусти в той песне унылой, и... чего-то... в напеве одном, что в груди моей холодной, остылой, разгорелось сердце огнём...»

И от последних этих слов вспомнишь совсем другое, нынешнее.

* * *

Шла я как-то в мае по задам чужой деревни, по узкой тропе вдоль щербатых заборов. Иду, слышу, поёт кто-то, всё ближе, ближе. Огляделась. За забором, на своём огороде, стоит, опершись на лопату, немолодая женщина. Вокруг – грядки, половина уже вскопана, земля сырая чёрными комьями лежит, липкая. Видно, что копать трудно, а копать ещё много надо. Стоит она там, в сапогах, облепленных грязью, и поёт:

Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров.
Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом.

Она не видела меня и пела широко, громко.

Она пела о своём любимом непутёвом мужике, видать, бедовом пьянице.

Сколько раз спасала я тебя!
Не могу я больше, не могу...

Лицо её было совершенно счастливое. Я замерла, боясь выдать себя. А человек пел свою песню, ту, которая высказала его, теперешнего, целиком. Ту, от которой сердце его разгоралось.

Ушла я осторожно. Песня всё удалялась, удалялась...

Редко теперь увидишь поющего человека. Хотя, может, и раньше стеснялись люди.

Вот с ямщиками, оно понятно. Ямщики, они же и поют в голос, потому что одни в своём пути, им не зазорно перед людьми.

Ничего, что протяжная она, наша песня. Она такая и нужна, чтобы человек себя нашёл. Как же ему иначе? Споёт вот так, протянет душу свою через песню, и душа станет лёгкая.

Думая обо всём об этом, пройдёшь сквозь лес, выйдешь в поле и пошагаешь, увязая в разгвазданной дороге. Глядя под ноги, поймаешь в памяти обрывок, и ещё строчку, и ещё. И запоёшь:

Вытри слёзы, отдохни немного.
Я – русская дорога!

Отходи, а я тебя прикрою
Грязью да водою,
Грязью да водою, грязью да водою...

И заплачешь счастливо. И начнёшься.

Глава 1. Толя ещё будет

Так хорошо было жить и знать, что Толя – косит. И пускай в городе несётся своя жизнь, и страна летит незнамо куда, и никто ни за что, кажется, уже не отвечает... Но там, вдали, есть деревня, где Толя утром взял косу и пошёл. И косит! Толя обкашивает всю деревню. Это так же верно, как восход солнца.

Раньше-то, конечно, все косили. И сенокос, и заливные луга, и перед избами – «под лысого», и бровку вдоль дороги. Ещё и нас, ребят, ругали, что, резвясь, траву мнём. «После вас – как Мамай прошёл! Косой не подынешь!»

Было оно, было – «Коси коса, пока роса!»

Уж потом – как посыпалось! Порастворялись колхозы-совхозы, будто сговорившись, вдруг состарились все деревенские, дачники исчезали. В полях, вместо пшеницы и овса, словно из-под земли, разом стали вздыматься трёхэтажные особняки, всё плотнее обступая притихшую деревню. И покатилося всё, куда – не разбери-поймёшь...

Но только не Толя. Он по-прежнему возвышался среди травы и махал косой.

В деревне, из мужиков, Толя был самый большой. Досталось ему тело, которое и в крестьянских-то тяжёлых трудах не задействуешь в полную. Потому брался он за самую над-

рывную работу, действуя размеренно и осторожно, чтобы чего не сломать. «В целости сделаю...» – говорил он.

По улице Толя ходил, внимательно оглядывая встречающееся на пути и невзначай поправляя всё, что было неладно. Идёт к соседке за какой-то надобностью, уж зашёл почти в калитку, ан нет, остановился. Осторожно потрогал столбик покосившийся. Улыбнулся большим лицом, присел, ухватил ручищами столб и, выдернув, воткнул заново. Землю подгребаёт сапогом, выравнивает...

– Толь, ты чё там возишься, а? – кричит бабка.

– Не бойсь, бабуль, в целости сделаю! – улыбается он через плечо.

Он много улыбался. Толина улыбка была беззащитная и доверчивая, говорящая: «Ну да, большой я, не взыщите. Но хорошо ж сделаю, ладно будет...» Самый добродушный человек он был. Но и самый упёртый.

Когда народ бросил косить перед домами, Толя растерянно походил от одного к другому, поспрашивал: «Чего зарастаем?»

– А чего я ломаться буду, когда такой разор?! – отвечали ему. – Коси сам, коли не лень.

Он ещё походил, потирая широкую переносицу и качая головой. И стал косить сам.

Народ сперва злился, а потом плюнул. Пушай его блажит.

Бабы иногда ворчали: «И охота тебе впереди паровоза бежать? Нашёлся тож...»

А Толя только рукой махал, шёл с косой. Да уходя, улыбался и говорил:

– То ля ещё будет!..

Это его вечная присказка была. Хитрая такая, с подковеркой, не поймёшь, про себя ли, про жизнь ли... Махнёт пятернёй, скажет и пойдёт.

* * *

А деревня-то не сильно удивилась Толиной косьбе. Он и раньше чудил.

Прокатится ливень, мокротень, все по избам сидят, а Толя с лопатой бродит по дороге, «лужи спускает». Это значит, копает от одной лужи к другой проходы, под уклон, а потом весь поток в большую канаву отводит.

Гребёт он лопатой воду, улыбается, ещё и детвору в дело втянет. «Дядь, а чтой-то вы делаете?» – «Да вот, выходит, систему озёр с водопадом. Тоже охота? Ну, валяйте, только чтоб в целости». К вечеру дорога уже сухая, детишки все чумазые по домам разбегаются, матери из-за заборов привычно костерят Толю, а он шагает посреди улицы, весь уляпанный грязью, лопату в такт шагу перебрасывает, ухмыляется:
– Хе, то ля ещё будет!..

А то в другой раз бабок от трансформатора спас.

Пришла разрядка из района: старые трансформаторы на новые заменить.

Приехали рабочие, привезли новую хреновину. А старая-то стоит посреди луга, метров шесть высотой, столбы просмоленные, надёжные. Её ещё выкапывать надо да грузить. Возня... Вот они и надумали – старую так оставить, новую вкопать да провода на неё перекинуть. И вкопали. Только вышло, что штука эта ближе к домам оказалась.

Бабки в сторонке кружком собрались, за щёки хватаются, головами качают: «Стрёкот от неё, лектричество вредное!» Мужики урезонивают: «Да что уж, коль вкопали... Власть...» Подошёл Толя, послушал. Почесал в затылке и пошёл к работягам:

– Не встанет тут ваша техника. Больно место сырое. Старая-то – на взгорке. А эта поплывёт.

Те его – матом, провода накинули, закрепили да укатали.

Толя посмотрел им вслед, роя землю носком сапожища. Вздыхнул:

– Ну, глядите. То ля ещё будет...

Впервые это прозвучало угрожающе.

Всю неделю шли дожди, а Толя не вылезал с дороги. Он рыл и рыл с утра до ночи. Ребяшня крутилась вместе с ним, но мамки теперь уж молчали, знали – дело.

Вечером пятницы Толя подошёл к завалинке, где сидели бабы, с размаху врезал лопату в землю:

– Всё, бабочки. Звоните в район. Поплыла ваша хреновина!

Над лугом в лучах заката громоздилась покосившаяся

конструкция, уходящая столбами в огромную лужу.

Районные как увидели, за головы схватились!

Ну и выкопали старую, а эту – на её место. Уж пришлось, как положено.

Вот тут бабы Толю нахваливали! А он – прямо расплылся:

– То ля ещё будет!..

* * *

Толя чудил, но чудил неспроста. Была у него на то своя философия, «теория шестерёнки», как он говорил.

За глаза его и звали «шестерёнкой».

– Вон, пошёл дело делать, шестерёнка!

Деревенским смешно казалось – называть эту громадину мелкой деталькой. Но в лицо говорить, нет, остерегались.

Саму теорию услышала я, придя к Толе косу наточить. Он сидел на крыльце и ножиком выстругивал ореховую палочку. Лицо его выражало полное благодушие удовольствия. А жена ходила туда-сюда и ругала его. Оля маленькая, слабая и вечно недовольная мужем. Дом их был справный, но всё ей казалось, что отлынивает он, что силач её недостаточно нагружен.

Увидев косу, Толя обрадованно загудел:

– Во, давай её сюда, давай. Поточим! Вот только дело доделаю...

– Дело он делает, ага! Думаешь, дело это?! – обернулась Олька на меня. – Ну щас! Сабли он вырезает детишкам! Крапиву рубать! Ты скажи, почто ты всех мальцов по деревне спортил?! Раньше по грязи их возжакал, теперь в крапиву загнал. Чего ты им наплёл?

– Так для интересу же... – оправдывался Толя, со звоном точа косу. – У них крапива – заместо фашистов, они у меня все – красноармейцы теперь, с немцами воюют. Они крапиву рубают, а мне опосля – косить сподручней. Вот и ладно будет...

– Ладно будет! А то ладно, что дети все обстреканные ходят?! Что крапивы теперь ни один бесёнок не боится, тоже ладно? Раньше только нагнёшься за ней – притихнут, а теперь вон сами на неё прут! Своя башка дурная, так мало тебе, ещё и детям головы задурил. Другие – по хозяйству вон...

– Хозяйство моё в целости. И луга в целости, – набычился Толя.

– А сам-то ты в целости?! Ты покажи, покажи свои бока дырявые! О прошлом годе целость твоя кончилась.

Олька намекала на историю со стадом. В прошлом году всё стадо упустили, коровы клевера переели, и раздуло им животы. Металась обезумевшая от боли скотина по полю. Способ-то есть народный: шилом в нужном месте живот пропороть, чтобы воздух сошёл. Да разве подступишься к бешеным?! А так погибнут.

Растерялись мужики, уж рукой было махнули, один Толя

упёрся. Ручищи распахнул и пошёл заламывать да валить коров. Другие тогда подтянулись, осмелели. Спасли стадо. Но и Толе досталось от рогов коровьих, в больницу ездил зашивать.

– Так если б я тогда не пошёл, весь механизм бы встал! Все ж тогда поломались, шутка ли?! А стадо? Вот и вышло, что последняя я шестерёнка исправная.

– Тоже мне. Оглобля ты дурная, а не шестерёнка!

– Ты правду мою не трогай... Оставь это. – Толя даже перестал точить косу.

Олька, поджав губы, нырнула в избу и гневно загромыхала оттуда кастрюлями.

– Не понимает она, да ей и ни к чему, её дело дом, – успокаивался он, снова вжикая по косе брусом. – А меня, такого, разве в один дом вставишь? А что кругом будет? Если все поврозь повставляются, всё и остановится. Люди, они как механизм часовой. В часах сколько шестерёночек, все ж вращаются, одна другую трогает, цепляет, та – третью... Так вот часы и идут. А разомкни в одном месте – всё встанет, шабаш. Так и мы... Пока общее есть, пока касается оно нас, и мы касаемся друг друга, зацепляем. А разъедини это, – он отложил косу, расставил и соединил пальцы рук, потом резко раздёрнул их, – видишь? Всё! Не пойдёт жизнь больше. Встанет.

Толя поплевал на брусок, стал доводить косу.

– И тогда, со стадом, всё прахом бы пошло. Ведь заело

всех. Тут опять, как в часах, выходит: одну шестерню заест, так и другая тормознёт, там третья, и погибель. Одна такая шестерёнка весь механизм остановить может. А с другой стороны, одна же она, если упорно крутить будет – всю машину запустит! Вот я и говорю, что последней шестерёнкой я был крутящей, со стадом с этим, будь оно неладно...

Он кивнул на избу:

– Она вон говорит – гордый я. А какая тут гордость? Шестерёнка – она шестерёнка и есть. Тьфу, если одна валяется, какой прок? А когда для всех, со всеми – тогда часы, тогда гордость.

Краем глаза я видела, что Олька уже давно стоит, прислонившись к дверному косяку в темноте сеней, и слушает мужа.

– А что бока попортили, так они нарастут... Меня так не испортишь. Такого, как я, только молнией пришибить можно, а так – не-е! – рассмеялся Толя, протягивая мне наточенную косу.

* * *

Его не убило молнией.

Весь август стояла страшная сушь, деревня иссыхала без дождя. А потом случился ураган. Он налетел, выламывая деревья, срывая крыши домов, подхватывая и унося парники, велосипеды, обломки заборов. Железную крышу нашего до-

ма разворотило, как консервную банку, вскрытую ножом.

И хлынул ливень! Толя прибежал к нам, стал приспособивать куски фанеры и плёнку, чтобы собрать хлещущую с потолка воду, потом вместе с мужиками поспешил к соседу, у которого сорвало окно...

До темноты все воевали со стихией. Потом дождь перестал. Со станции пришли люди, рассказали, что электрички не ходят, провода какие-то оборвало, а дорогу в деревню вообще завалило. Как раз в том месте, где линия высоковольтки проходит. Видно, по просеке ураган шёл, вот сосен и наломало. Совсем не проехать, нет дороги.

Деревенские повздыхали, усталые же все. Толя подхватил топор и по темноте пошёл к высоковольтке – прорубать дорогу.

А поезда-то не ходили, потому что провод высоковольтный оборвался. Оборвался и лежал на траве.

Его убило разрядом, который много сильнее молнии. Смерть Толе досталась по его величине. С уважением подошла к нему.

Я думала, хоронить будут в закрытом гробу.

Нет, он не обуглился. Толя лежал в огромном этом ящике и всё равно еле вмещался. На мёртвом лице его была та улыбка, говорящая: «Ну да, большой я. Уж не взыщите...»

Остановилась шестерёнка.

* * *

Ехала я осенью в деревню. Дождь, грязь, темнеет уже. Еле пролезла. Подъезжаю, с километр осталось, на гору только взобраться. Вижу в сумерках – на дороге кто-то возится. Мужик, грязный весь, лопатой копает, гребёт из лужи в лужу. А машины рядом нет. Один он. Притормозила...

– Вот, лужи спускаю...

Когда я въехала на гору, там стояла женщина под зонтом.

– Послушайте... вы моего там не видали? Ушёл в ночь, и нет да нет... Все люди как люди, дома сидят, а этого – вечно впереди паровоза несёт!

Я заулыбалась.

– А что вы улыбаетесь? Нет, вы мне скажите, чему вы улыбаетесь?!

Я вспомнила. Толя – ещё будет.

Интерлюдия. Костры

Идёшь пасмурным октябрьским днём по саду и шевелишь ногами опавшую сухую листву яблонь. Истончал лист, побурел, ломкий он теперь. В сонном молочном воздухе всхрустывают твои шаги отрывисто, будто мелко режут большую тишину, что стоит вокруг.

Значит, пора уже сгребать листья, пора жечь их. Пришло время костров осенних. И спокойно и деловито становится на сердце, размеренное занятие впереди.

Медленно шурша граблями, прогребашь весь участок, снова берёшь его в заботу. Вырастают на полёгшей, ровно расчёсанной траве коричневые кучи листвы. Катаешь туда-сюда тачку, с верхом уложенную рассыпчатым, мягким шорохом.

И вот уже запахло по деревне душистыми лиственным кострами, потянулись над участками вверх в серое сырое небо белые широкие столбы дымов. Лист осенний горит бодро, занимается быстро, вспыхивает вдруг вся куча весёлым всполохом, а дым от него щедрый, клубами. Стоишь, о грабли опершись, у костра, вдруг полыхнёт жарко, отпрянешь, а уж поздно, дым в глаза попал, слёзы...

Утираешься, а всё равно смеёшься. Весело жечь осеннюю листву! Есть в этом деле завершение летних забот и свобода бесцельного стояния у костра, замороженного глядения в

огонь. Да и ссыпать охапки листьев в костёр – затейное занятие. Сыпанёшь, прижмёшь огонь, притихнет он, хитро высываясь язычками – то тут, то там. А потом снова ахнет пламенем. Будто разговор с ним ведёшь: ты ему, а он в ответ.

Костёр – штука загадочная. И всегда приводящая к задумчивости. Строишь на огонь, мысли плывут сами, потом и не вспомнишь их, только знаешь, что мирное думалось.

Таинственно глядит издалека ночной костёр в летних лугах, на речном берегу. Хорошо идти к нему, долго шагая по росистой траве. Идти и знать, что ждут тебя там твои добрые знакомые, договорился ты о встрече, вот идёшь к ним. Тебя не видят ещё оттуда, ты в темноте, а они – далёкие фигурки на фоне огня, ты идёшь к ним, невидимый, знаешь, что появишься у огня неожиданно, и обрадуются тебе. А пока идёшь, вглядываешься, приближаясь, начинаешь различать, кто там кто, долетают обрывки разговора и смех вместе с потрескиванием сучьев. Взлетает иногда над огнём сноп искр и растворяется в высокой темноте. Дойдёшь до костра, и зашумят, повстанут с мест... И будешь ты с ними, в круге костра, оставив за спиной весь ночной мир.

А чужой костёр в тёмной дали ещё загадочней смотрится. И не хочется подходить, жалко разрушать тайну. Сидят у него неведомые путники, думается, что им там вместе тепло, уютно. Пусть так и будет.

Дальний огонёк всегда несёт мир душе. Светят мирные огонёчки по краю поля зимнего, широкого. Деревня там, из-

бы в снегу, окошки тёплым светом мерцают, а некоторые синим подсвечены, люди, должно быть, ужинают и телевизор смотрят. И само поле теперь не такое безнадёжное, есть в нём путь к тем очагам. Пустое-то зимнее поле и бесприютно, и бесконечно. Чудится в нём только зверь осторожный на краю леса – да и тому, поди, холодно. Одинокое пустое поле зимой.

Если в поезде ночном едешь сквозь зиму, темно в купе, ты глядишь в окно, а за окном по тёмной непрерывной волне снегов плывут чёрные полосы лесов, палки столбов, столбов с нескончаемыми проводами, прямых столбов, косых, опять прямых. И всё темень да темень. Провода тянутся выше, сбегают вниз, и опять смутные пятна то ли перелесков, то ли ночных туч на небе. Но вдруг – огонёк, жильё. Один, потом сразу три, потом замелькали, ближе, совсем недалеко уже, фонари вдоль дороги, дома. Прохожий идёт, закутанный, зимний. Светятся окна пристанционных построек. Мелькнула красная герань на чьём-то подоконнике. Тепло там, свет вечерней лампы...

Поезд потряхивает на развилках рельс, на переезде. Тормозит. Вот и полустанок. Свет фонарей на перроне вливается в купе, плывёт квадратами по полу. Встали.

Постоим среди жилья людского. Потом дёрнет вагон раз, другой, поедem дальше. Опять в темноту полей. Тут хорошо укутаться одеялом и уже уснуть, думая про тот полустанок, того прохожего, ту герань. Мысли путаются, и кажется, что

герань та – тоже костерок вдали. И что впереди, далеко за снегами – весна...

А весной костры совсем иначе горят. Опять люди на участках жгут листья. Только теперь листья те – перепревшие, перележавшие зиму, сырые они. Целый день тлеют такие кучи листвы на задах деревенских домов, дымят среди просыпающихся яблонь низким дымом. Пахнет последними остатками волглого снега и тёплым горьким дымом. До темноты преют-тлеют костры, поддымливают, вот, глядишь, один загас уже...

Но ночью дунет свежим ветром с очнувшегося поля, разворошит он золу, и увидишь, что там, в глубине, мигают горячие угли. В домах темно, спят в них сейчас крепко, а в саду догорает потихоньку старая листва. Деревья стоят чутко в тишине ночи, они не спят, они готовятся. Начинается новое.

Глава 2. Пираты оврагов

Никто не воровал так, как вы! Никто не пил с такой уда-
лью! Никто так не рубился на топорах! Никто не мог мате-
риться с таким выхлестом! Только вы! Вы, чудо и страх де-
ревень, дач и совхозов, русские пираты оврагов, великие Ко-
пейкины! О вас мой рассказ.

* * *

Дядя Гриша Копейкин сидел у дырявой калитки на лав-
ке, подавшись вперёд и решительно уперев руки в колени.
Щурясь худым лицом, он внимательно вглядывался в овраг,
растелившийся перед ним. Так он замышлял новое дело.

В деревне только у этой семьи не было прозвища. Хватило
фамилии – Копейкины!

Их было четверо. Старик Григорий с Любкой, дочь Надь-
ка и Мишка, муж. Навечно загорелые, обветренные, в засти-
ранной белёсой одежке, по трезвяку молчаливо-дикие, они
напоминали крепко сбитую стаю волков. Взгляд их был це-
пок, поворот головы – резок.

По округе Копейкины гоняли на четырёх велосипедах, с
которых отпало уже всё лишнее, у одного вместо седла тор-
чал старый сапог.

Появлялись они то тут, то там, и за появлением следовало одно – кража. Предсказать их замысел не получалось. Копейкины были затейники.

Рыжего Мишку заставляли посреди деревни воруящим из колодца ведро! Сбегался народ, шум-гам...

Он, кося глазами, отбрёхивался, долго привязывал ведро на место, уезжал, огрызаясь. Бабы верещали ещё, медленно расползались по домам, а к вечеру выяснялось, что картошка с огородов повыкопана. Но у всех – по чуть-чуть... Копейкины!

Жили Копейкины на краю, над оврагом. Развалюха посреди бурьянного участка топилась по-чёрному. Внутри на земляном полу стояли нары, еду варили в маленькой печке на улице, среди лопухов. По утрам все четверо, гуськом, проносились на великах по тропинке, сквозь лопухи, к калитке. Над зарослями виднелись только головы. Впереди катил старик Григорий.

Возвращались в сумерках, так же гуськом. Темнело. Из избытки раздавался смех, потом хохот, всё стихало... Потом из темноты начинал нарастать смутный матерный гул, крепчал, разрастался, взрывался визгом, и Копейкины вылетали на участок. Дрались они яростно, гоняясь друг за другом по крапиве с топорами, пока хватало пьяных сил.

Утром наступала нежность. На лавочке у калитки Копейкины старательно бинтовали друг друга тряпочками, посмеивались, пришивали оторванные рукава и ворота рубах. И

уезжали.

В своей деревне они не шалили. Но деревня страшилась. Больше всего деревенских сбивала с толку непрактичность их воровства. Копейкины всё наворованное прогуливали, получалось, что воровали они ради затеи. Это и пугало народ, и восхищало.

Свадьбу Надьки и Мишки помнили все. А дело было так...

Под деревней стояли дачи Большого театра. И вот однажды у балерины Плисецкой утром пропал сервиз на шестьдесят персон. Кража странная, ведь из богатого дома пропал только сервиз...

В тот же день в соседней деревне у Гульчихи украли коромысло и два ведра. На Копейкиных никто не грешил, потому как знали, что они перегоняют из Волоколамска в районный продмаг грузовик водки. Кто и почему доверил им такое, не ясно. Но они его пригнали-таки в сельпо. Правда, пара ящиков треснула на ухабе, но битые бутылки Копейкины предъявили директору, пошло под списание.

Вечером Григорий Копейкин появился в деревне, неся на коромысле два полных ведра.

«Гляди! Дядя Гриш, а ты зачем воду-то спёр? Своей, что ль, мало?» – веселился народ. Копейкин молча пронёс вёдра через всю деревню и скрылся на участке. А утром Копейкины всю деревню пригласили на свадьбу. Народ опешил... но пошёл.

Посреди вытоптаннных лопухов стояли сбитые из досок столы, а на них – голландский сервиз Плисецкой, весь, до последнего блюда. И два ведра водки. Закуска тоже была, но откуда её взяли – неизвестно.

Сервиз опознала Анна Ивановна, она у Плисецких в домработницах служила. А Копейкины и не отрицали. Свадьбу отгуляли, водку выпили, сервиз помыли и вернули. Вот так!

Кстати, выражение «Вот так!» принадлежит Надьке Копейкиной. Поджарая, с волосами цвета воронова крыла, Надька была решительная женщина. Раз в неделю она устраивала Мишке «стирку».

«Я те мозги-то простирну!» – неожиданно раздавалось от Копейкиных, после чего Надька выскакивала на улицу, разворачивалась и, уперев руки в бока, поносила мужа звонким матом долго. Вся «стирка» неожиданно завершалась бесспорным «Вот так!», и Надька, взмахнув чёрной гривой, достойно уходила в овраг.

Овраг Копейкины любили. Длинная череда оврагов соединяла все деревни в округе, из оврага Копейкины появлялись в любом месте, в нём же исчезали, это был их пространственный портал, их царство. Там, в зарослях, был у них сарайчик для схорона. Однажды в этом сарайчике целый месяц жил индийский буйвол. Да, именно индийский, именно буйвол.

Дело в том, что совхоз купил трёх племенных индийских буйволов, для улучшения породы. Так вот, приглядывать за

ними на специальном выпасе поставили Копейкиных.

Они раззвонили о буйволах по всей округе, мол, породистые, племенные, народ приходил и дивился. Быки были белоснежные, рогастые, лоснящиеся...

Через неделю один буйвол сбежал. Уж искали его Копейкины повсюду! Месяц по оврагам лазали. Нашли наконец, пригнали, здоровёхонек оказался. Им даже премию дали.

Конечно, понимали все, что они его и свели, но – раз вернули, зачем тогда брали?

Следующая весна всё разъяснила. По деревням появилась странная популяция белоснежных телят. Председатель вызвал Григория.

– А что я?! Он у вас, ятыть, месяц по оврагам гулял! Он, бляха-муха, силён бык... Мало ль где вылез да какую телушку укрыл... А я, ятыть, за ним месяц шамонался! А он – гулял, буйвол-то...

Деревенские загадочно посмеивались, поглаживая телят. Григорий, проходя мимо, деловито осведомлялся:

– Ну, как там, того... крестники мои?

Григорий был значительный. Длинный, с густой сединой и вечным прищуром. Управлял семьёй, говорил мало, запинаясь на всех словах, кроме матерных.

Однажды Надька с Мишкой родили дочку. Олька рано стала ползать среди лопухов, и Григорий, весь переломившись, брал её за ручку и выводил к калитке – показать деревне. Там он усаживал её на лавочку, сам садился рядом и гля-

дел на внучку. От переполнявшей его любви Григорий разводил над Олькой руками, сжимал кулаки, вздрагивал, пожимался, мучительно подбирая ласковое слово, и, осторожно глядя её по головке, шептал:

– Хренуленька моя... Хренуленька...

Для Ольки старик Копейкин стал даже наряжаться. Однажды я застала его сидящим на лавке в новой небесно-синей рубахе. Вокруг его худого тела она раздувалась, как парус вокруг мачты. Я похвалила рубаху, чем страшно смутила Копейкина. Он весь замялся, стал обирать с себя что-то руками:

– Для внучки вот... новая. Синяя, ятыть... Да...

Кончилось всё неожиданно. Григория выкинули из электрички, на полном ходу, вместе с его чёрным конём-велосипедом. Под насыпью нашли их обоих, одинаково искорёженных. Похоронили.

Потеряв капитана, семья потеряла удасть. Да и совхозы распадались, и буйволы повывелись...

Вскоре Копейкины исчезли вовсе. Говорили, что подались они на Украину, к Мишкиной родне. На месте их хибары выстроили огромный дом с гаражом и кортом, кто-то там живёт.

Шла я как-то пасмурным осенним днём вдоль реки за деревней. Шла вдоль обрывов, ивовых зарослей и пляжиков. Река серая, пустая, день был ветреный. Издалека увидела двух людей, переходивших реку вброд. Они вели в поводу велосипеды. Что-то закружилось в моей памяти...

Когда они вышли на берег, я увидела, что реку эти двое переходили одетыми! Пожилой мужик и молодая женщина, теперь они стояли на дороге впереди меня, отряхиваясь от воды. Я подошла. Мишка Копейкин и... нет, не Надька, это была молодая Олька, очень похожая на мать! С чёрной гривой волос. А Мишка – седой.

– Вот... в родные места. Тянет, ятыть...

– Что ж вы одетые-то переходили? Замёрз нете...

– Неа! Обдует, ничё-ё... Обдует!

Миха лихо вскочил в седло. За ним Олька, взмахнув гривой. И они быстро покатали вдоль реки, гуськом. Интересно, куда?

Интерлюдия. Ростки

Идёт весна. Снег уже сошёл, и дожди пролили, размочили последние остатки грязных лежалых сугробов под северными стенами изб и на дне оврагов. Открылась в лугах жухлая трава прошлогодняя, подсушило её солнцем.

Но как-то замерло теперь.

День за днём погожие стоят, смирные. Закаты один за другим долгие, ясные, по низу неба – тёмные полукружья деревьев. Только ветки, ветки, чёрным всё рисунком, сквозные. Вон розовеет сквозь деревья небо.

Не распускается ничего.

Приготовилось и чего-то ждёт.

Не распускается.

А ты всё ходишь по полям, под ногой аж хрустит старая трава, ботинки пыльные потом... Седые репы обиженно отцепляешь с одежды, терпеливо выбираешь с края штанины семена каких-то трав, с маленькими крючочками, никак не выберешь... И всё выглядываешь – может, уже проросло, началось? Нет, не распускается.

В одну такую дальнюю прогулку налетит ветер, застудит, принесёт откуда-то косой, острый дождь. Все планы тебе собьёт, вымокнешь, прибежишь домой замёрзший. И печь долго растапливается, дымит. И весь день скомкался, насмарку пошёл. Вечером так и уснёшь, неприкаянный.

А назавтра окажется, что ночью, после дождя, проснулись земляные червяки. Вскопали они дорожки, сделав в них эдакие кудрявые дырочки, а сами спрятались. И больше ничего нового.

Снова пойдёшь бродить.

Опять сушь одна под ногами. Разве ж это дождь был? Так...

И вдруг краем глаза заметишь, как сбоку, среди коричневой путаницы сухостоя – жёлтое светится. Там вырос кто-то жёлтый.

Свернёшь, забыв про все репы, напролом туда продерёшься. Маленькие они, а сами крепкие, между умерших длинных трав повывлезли, многие ещё не распустились, только напыжились бутончиками на толстых стебельках. А вот здесь, в гнезде из сухой травы, теплее, и несколько раскрылось. Они – цветы мать-и-мачехи. Жёлтые солнышки. Первые.

У них даже листиков нет, одни они тут, светятся, как канарейки прилетевшие.

После, летом, ты не заметишь и не вспомнишь про мягкую бархатную траву мать-и-мачехи. А сейчас нет главнее, чем вот эти цветочки. И все знают их.

Сядешь возле них на корточки. Так сорвать хочется, сложить в руку, унести домой. Да совсем не живут они в стакане, повиснут, повянут. Не надо.

Примнёшь руками быльё вокруг, потом спохватишься,

обратно поправишь, пусть угреваются. И уйдёшь, улыбаясь.

Шагая к дому, сообразишь, что ещё теперь проверить пора. Прихватишь в сенях миску, поспешишь в терновник, туда, где летом самый бурьян прёт. Теперь-то там ничего и нет вроде, но должны, должны уже прорасти...

И проросли. Маленькие, упрямые ростки крапивы. Они такие ещё свежие, что зелёные до черноты. И за перчатками не пойдёшь, какие там перчатки, не до того. Мало их пока, ходишь туда-сюда, выискиваешь. Летом ворчишь на эту же крапиву, а теперь рыщешь, вспоминаешь места, где, может, есть она. Наберёшь миску, будет к обеду крапивник, первый весенний суп.

Вечером выглянешь с крыльца – слушаешь темноту. Шуршит в темноте. И тут и там шуршит. Если возьмёшь фонарь и выйдешь в сад, посветишь – увидишь, как шевелятся сухие листья на земле. Вот дрогнул один, шелохнулся. А там другой. И ещё. Так апрельскими ночами растёт из земли трава. Упирается травинка, упирается – и сдвинет лист.

Вдруг долетит из ночи, от ручья, сбивчивое тарыхтение. Там две утки кряквы прилетели, теперь женихаются.

Откуда-то сырость тёплая спустилась на округу.

Задержишься в темноте сада, стоишь и чувствуешь, что двинулось оно, наконец, пошло. Распускается...

Завтра опушится орешник, он первый. Потом берёза. Будет тёрн зацветать и вишни. Потом настанут черёмуховые холода. Волноваться будем, не помёрзла бы цветущая ябло-

ня. А потом снова волноваться, под дубовые заморозки, тогда уж про молодые листочки дубов. Дальше и счёт потеряешь, кто за кем.

А потом уж покатится всё, покатится... В летнее богатство.

Опомнишься и поспешишь в дом.

Хочется, чтобы скорее завтра наступило.

Глава 3. Ласточка

Бельё у нас всегда ходили полоскать на речку, под церковь.

Церковь на высоком берегу стоит, вокруг неё река поворот делает, течёт густо, с быстринами и водоворотами. Чёрная утоптанная тропинка начинается на погосте и вьётся среди лип до самого низа, до травяного бархатного пляжика. Вот там мосточки есть, специально для этого. Иногда сносило их паводком, иногда опоры подгнивали... А мужики опять восстанавливали, куда ж без них?

Я тоже сюда хожу.

Вот и стою, нагнувшись, простыню в воде кручу. Она жгутом завернулась, а я её – то в одну сторону поболтаю, то в другую, а то выдерну из воды, встряхну и снова... Солнце, брызги летят, руки занемели, не поймёшь – горячо ли, холодно?! Здорово!

Но устала. Отжала кое-как, шмякнула в корзину, разогнулась.

Течёт река, налитая ровной силой, чешет как гребнем длинные пряди водорослей, чуть журчит, завиваясь вокруг коряг у того берега.

Та сторона плоская, поля лежат в мареве тёплом.

– Да кто ж так отжимает?!

Обернулась, а на берегу, на брёвнышке, Наталья Никаноровна сидит. Не видела я, как она подошла.

– Да уж я как могу...

– Да оно и видно, – она ухмыльнулась. – Давай помогу. А то ведь полреки домой попрёшь.

Наталья Никаноровна оперлась руками о коленки, резко встала и пошла по мосткам. Лёгкая походка у неё! И с виду – не старуха, а вроде старой девушки. Грузного в ней нет, талия вот, осанка... Только лицо на подмёрзшее яблочко похоже, и то глаза из морщинок глядят лукаво, молодо.

Правда, побаиваюсь я её, характер у Натальи острый. Я же её с детства знаю, мы давно ещё, до того как свой дом купить, у них снимали.

Выкрутили мы простыню в четыре руки, пошли на берег. Сели на то же бревно гладкое.

«И чего она тут делала одна? – думаю. – Она же никогда сюда не ходит». Правда, была в их семье такая странность: у всех бабы полощут, а у них – муж её, Егор. Ну, пока дети не разъехались, старшая дочь ходила. А потом только он. И вот что чудно: в деревне никто не судачил об этом, будто так и надо.

– Чего молчишь? – толкнула она меня в бок. – Думаешь, чё я тут забыла? А спросить боишься?

– Да неловко.

– Вот и мне – неловко... – вздохнула Наталья. – Потому и сию. В церкву вон ходила, хотела с батюшкой поговорить.

Да застеснялась...

Тут только я сообразила, что на ней платочек новый и повязан под подбородком – так бабы только в праздник или в церковь повязывают. В обычные дни узел назад вяжут, под пучком на затылке.

– Не приученная я к церкви, мы ж без этого росли. Раньше, ещё в разваленную-то церковь, бывало, ходила. Встанешь посередке, небо над тобой, ласточки вьются. Стоишь и говоришь, что на душе. А теперь вон как хорошо всё отделали. И батюшка сурьезный... Постояла я там да ушла. Тебе-то церква нравится? – она кивнула через плечо на храм.

– Да, хорошо сделали. Только уж слишком новая. – Я вспомнила, как мы детьми лазили на обваленные стены, поросшие берёзками. Стены широкие, и там наверху были травяные полянки с самой сладкой земляникой. – Ну, ничего, обтреплется немножко, привыкнем...

– Обтреплется... – повторила Наталья ровным голосом, задумчиво глядя на реку. – А обмелело-то как! – вдруг растерянно улыбнулась она и, тронув меня за колено, заглянула в лицо. – Я тут, почитай, лет сорок не была. Вот пришла... Такой уж нонче день, значит.

Станным было её настроение. Не похожа была эта растерянность, эта доверчивая улыбка на ту жёсткую Наталью, которую знала я.

– Так тут глубоко было? Раньше?

– Глубоко... Глубоко. Кому ж, как не мне, и знать, как глубоко...

Наталья как-то жалко поморщилась, потом выпрямила спину и повернулась ко мне.

– Потому знаю, что утопилась я тут.

* * *

Кругом было много-много звуков. Вода журчала. Липы шуршали все разом от налегавшего тёплыми волнами ветра. Большая синяя стрекоза гудела, замерев над осокой. Задорной вереницей кружили ласточки высоко над деревней, словно катались по невидимому небесному кругу, и весёлый их щебет то приближался, накатывал до звона в ушах, то уносился туда, за огороды, к луговинам, чтобы снова нахлынуть через пару минут.

Из деревни – бляение козы, детский гомон и собачье тьяканье, обрывки радио – предвечерняя деревенская жизнь.

А у нас стояла густая тишина. Стояла и стояла.

И что мне делать? Не спросишь ведь.

Наталья молчит. Руки сложила ладошками, зажала их между колен в подоле юбки, чуть покачивается, на воду смотрит. Будто забыла про меня.

– ...Из-за любви топилась из-за несчастной. Из-за неё самой, – вдруг сердито резанула она. – А ты думаешь, только у вас в Москве любовь-то бывает?

– ...Это вы из-за Егора, да? – осторожно вставила я.

– Да куда там из-за Егора... Если бы... Из-за Витьки Зуба топилась я. Вот как.

Тут уж я онемела и уставилась на реку.

* * *

Витька Зубов был брат её мужа, Егора. Но так несхожи были братья, даром что родня. Егор – крупный, раздумчивый в движеньях мужик совсем не деревенского вида: любил носить светлые просторные брюки, много ходил босиком, и меня поражали его ступни – длинные, точёные, как на иконах пишут. Смотрел он всегда задумчиво и как-то мимо – то ли вдаль, то ли внутрь себя. Был молчалив, но по-доброму, с мелькавшей из-под седых усов улыбкой.

Брат его Витька тоже высокий, но весь ломаный какой-то... Сухой, бесцветный, со злобным прищуром и крикливым голосом. Лицо у Витьки было даже красивое, но острый подбородок, острый нос, излом бровей делали его похожим на осколок битого стекла.

Смертным боем бил Витька жену, тётю Люсю, да не по пьяни (это бы ещё понял народ), а в трезвом разуме. Огрызался на любого, что ни скажи. Вечно выскакивал из-за угла и бежал к тебе, выкидывая вперёд журавлиные ноги, и ещё на бегу – кричал, матерился! Ведь старик почти, уж под семьдесят, а бешеный! Детвора его дом обходила, боялись. Злой

он был, бессмысленно-злой, словно зуб на весь мир держал. За то и прозвали Зуб. Народ прозвища метко даёт, как клеймо ставит.

И вот из-за Зуба – топиться?!

Тут уж замолчишь.

– Чудно тебе, что по такому сохла? – Она словно прочла мои мысли. – А он раньше знаешь какой видный был! Это его жизнью искорёжило. Подумать, так страшно. Что было, а что стало-то...

Наталья искоса внимательно глянула на меня и, что-то своё увидав, успокоилась. И заговорила, то перебирая складки юбки, то разглаживая их маленькими руками:

– Да. Видный был. Глаза зелёные, вот как трава речная... Волосы – волной, чернющие... Это он теперича бесцветный весь, как мокрица, злоба из него цвет повымыла. А в молодые-то годы – ой, беда девкам, какой был парень! Вот и попалася я, дурочка молодая была, что понимала? Гармонь-то, трёхрядка, у него сама играла. Так прям и перекатывалась из руки в руку. Чего уж... – Она шумно вздохнула. – Я ж сюда не за ним ехала...

– А вы не здешняя?

– Не-е, воронежская я. У меня тут и родни нет... Окромя Егора теперь, – добавила она. – Воронежская я. Семья на мне была, пять ртов.

Отец с войны не пришёл. Мамку тоже войной поломало.

Голодали мы под немцами-то. Нас мамка выкормила, а себя испортила. От живота померла. Шестеро нас осталось, я, сестра да братишек четверо. Город разбитый, в землянке живём, а огорода нет. Малых кормить нечем, а я уж взрослая, семнадцать годков, вот и думай... Соседка присоветовала мне сюда, под Москву ехать. Торфяники тут разрабатывать решили, власть на то специальный указ сделала после войны, на эти самые торфяные кирпичи упор тогда был. Для топлива их, значит, производили. Работа тяжёлая, вот и звали народ отовсюду, свои-то не очень шли, местные. У них, понятно, хозяйство, а кто порожняком – те и шли. Мы с сестрой как удумали: я им деньги высылать буду, вот и проживут. Деньги тут платили, да.

Собралась я и поехала. А собралась-то! – Наталья весело рассмеялась, махнула рукой. – У меня ж и чемодана не было, так в скатерть старую покидала бельишко, узлом связала – вся поклажа моя! А ничего, ехала-радовалась, новая жизнь впереди, думала.

От станции помню, как шла, вся волновалась, гадала, что за места такие.

А на гору вышла да как увидела... Приволье какое! Оттуда всё ж прямо на ладони – луга, лесочки, и заречье видно. Река, знаешь, как поясок такой... Облака так стояли... – Наталья запнулась, ища слово, – ...вот как перины по небу белые. А между ними солнце столбами светит. И так оно далеко видно, что различаю я, что над одной деревней погоже,

а там-то дальше, на другую – уж тень упала... Названий ещё не знала, Падиково там али Крюково, только много деревень видать.

И до того мне весело от простора этого сделалось! Подхватилась я, побежала с холма, сама смеюсь, платок съехал, косы мотаются! Девчонка была, задору много! Так в деревню и влетела козой.

Наталья затихла. По лицу её волнами пробегали очень разные чувства, и губы то улыбались, то вытягивались в ниточку.

– ...А его, да, в первую вечерку и увидала, точно, – начала она с полуфразы, продолжая вслух то, о чём думала. – Девчонки после смены по комнате скачут, красоту наводят, помаду друг у друга из рук тащат, помада одна на всех была. А я и не пойму, к чему, я ж на танцах не бывала. Мне разъяснили соседки-то по бараку, мол, сейчас на вечерку пойдём, наряжайся. Нас в комнате пятеро девок жило – Маша, Зинка, Гульчиха тож и Дунька-горох.

– Это Авдотья Степановна, со слободки которая? – уточнила я.

– Ага, Авдотья. Степанна...

Наталья говорила о девчонках, а называла имена деревенских бабушек. И никак я не могла представить их себе, тогдашних. Всё всплывали кадры из старых фильмов, но – Гульчиха и баба Дуня?..

– Наряжайся, говорят, а во что мне рядиться? У них платки, а у меня только скатерть старая. А что?! Она шитая у мамки была, цветы по ней, только где нитки потёрлись, где выгорели. А с изнанки – оно и ничего, цвет сохранился. Перевернула я её, на плечи накинула да так и пошла. В скатерти! – Наталья прыснула в кулак. – Страшно, конечно, всем чужая, да как примут... Но от этого мне ещё веселее сделалось, задор какой-то напал.

В клубе все по стеночке стоят, и я стою, а Витька на табурет сел, гармонь перетряхнул и так заиграл... – она повела рукой, – ну, как рассыпал!

Потом затих, момент выждал... А сам всё на меня глядит. Он, видать, меня сразу приметил. Вот потянул он, потянул да как грянул плясовую! С притопом которая. А я же тогда бедовая была, заводная. Мне и попади вожжа под хвост. Думаю: «Смотришь?! Ну, смотри, какая я. Во какая!»

Распахнула скатерть-то, натянула за спиной, каблуком топнула и пошла. Прямо так одна и поплыла! Щёки горят, внутри всё скачет, а сама только его глаза вижу. И он-то тоже с табурета вскочил, вокруг меня прямо так, с гармонью, и пошёл, гоголем! Эх...

Наталья махнула рукой, отвернулась.

– ...А что я про это знала, какую такую любовь?! Всё носы братьям подтирала, до того ли было? Вот и захолонуло меня, дуру... Так с того дня у нас с ним и покатилося. Я тогда как заболела, ничего, кроме Витьки, не видела. Не ходила, ле-

тала! И работа в руках горела! Мне бригадир норму увеличил, а что мне эта норма, я и две могу! На торфяник бегом, а с торфяника уж не бегу, лечу, Витька ждёт, знаю. Помню, лечу к нему так по жнивью за деревней, вся нараспашку, осень та тёплая была, а он к стогу прислонился, покуривает, ждёт. Он тогда весёлый был, глядит на меня, щурится, смеётся! И вот помню, издалека ещё вижу его, а внутри всё переживает, и в голове голос такой: «Вот она, любовь твоя».

Она осеклась, помолчала. Потом совсем спокойно, тихо продолжила:

– Никакая то была не любовь. Морок это был, навроде горячки. Я ж ни себя не помнила, ни его, Витьку, не видела, какой он есть. Только глаза зелёные. Да запах его, как обнимет.

Ну и... этого самого мы не избежали. Он с отцом всё обещал поговорить, насчёт женитьбы, да тянул, а сам – льнёт и льнёт... Я уж и так, и этак отнекивалась, а боязно было – никак бросит он меня, непокладистую, и найдёт поговорчивей которая.

Ну, а уж к зиме, как стало ясно, что ребёнок у меня будет, начала я в себя приходиться. Вроде как власть над собой хоть малую, но вернула. Сказала, мол, не будет у нас ничего, пока он с отцом не переговорит. Потом уж поняла я, чего он тянул, Витька-то...

Говорила Наталья размеренно, ровно. От её мерного го-

лоса становилось так страшно, что я старалась совсем не шевелиться, сидя рядом на жёстком бревне. Посмотреть ей в лицо я тоже боялась, а всё глядела на загорелые маленькие руки. Эти две руки будто танцевали танец: то сжимали друг друга; то покойно ложились на колени; то гладили, то трепали выцветшую ткань юбки; то хлопали по сухому бревну; то взлетали в жесте. Ничего, кроме этих рук и голоса её, не было тогда для меня. Ни реки, ни деревни, ни времени...

– А он-то с самого начала знал, что отец заартачится. Витьку давно уж за Люсю прочили, да она ему не гляделась. Люся с приданым была, семья крепкая за ней, а я куда – со свиным рылом в калашный ряд... Девчонки мне про то намекали, но разве ж я чего слышала тогда...

Он всерьёз сказал, что со сватами придёт. А после пропал. Потом уж узнала я, что отец его в соседнюю деревню услал, от греха, до самой их свадьбы.

А разговор у них такой был, что отец ему дом отстроить пообещал, если он на Люське женится прямо сразу, а коли на мне, голодранке, – так живи, как знаешь. Вот Витя и выбрал. Он достаток всегда уважал. Но это уж я, говорю тебе, потом узнала.

Руки хлопнули по бревну. Наталья выдохнула.

– А тогда пропал. Я к девчонкам с расспросами, а они темнят чего-то... Никто мне не сказал. Всё ж таки – чужая. Я о свадьбе только в самый тот день и узнала. Они собираться

стали, я – «куда, к кому?», девки и брякнули, что «свадьба, мол, у твоего Витьки с Люсей». Так и ушли они на свадьбу эту.

Я в бараке одна осталась.

В комнате темно уж, за окном снег тихо так падает... И помню, спокойно сижу на кровати своей, а в голове ясность наступила, даже будто и не больно мне. А только одна мысль за другой идёт, холодные эти мысли, как льдинки: «Жить тебе незачем. Ребёнка растить не на что. Братьям помочь – не помогла. Любовь твоя кончилась. Стыд только впереди. Утопись ты».

И как последняя мысль пришла, мне совсем легко сделалось. Вышла я в коридор, стала складывать мокрое бельё с верёвки в корзину, мол, если встречу кого – решат, что бельё полоскать собралась, на проруби. А сама думаю, что корзина эта меня на дно и утянет. Одедася и пошла.

Вот сюда пошла.

* * *

Наталья стихла. Долго мы промолчали. Она думала о своём, но я тогда уже не замечала тишины. Передо мной разворачивалась неведомая мне раньше, огромная деревенская человеческая жизнь. Ведь вот Наталья, тётя Наташа, казавшаяся такой понятной, знакомой, – та, которая сварливо ругается с бабами в очереди к автолавке; задиристо поёт ча-

стушки на деревенских гуляньях; подоткнув подол, полет грядки; костерит ребятишек, объедающих малину с огорода; мокрой тряпкой шваркает зазевавшегося на чистом полу kota, – такую её я знала. Это всё было родное. А вот эта, тихая, рядом со мной, Наталья – она же. И та, идущая к проруби, – она.

Весь знакомый мне мир деревни, вместе с её жителями, опрокидывался, как картонная декорация.

А за ней вставал другой, живой мир. Глубокий, страшный своей глубиной. От этого знания было жутко. И почему-то радостно.

* * *

– Яблочко хочешь? – Наталья тронула меня за руку. – Я к церквы садом шла, вот, созрели уже, ранние.

Она сунула руку в глубокий карман юбки, вынула два мелких красных яблока, обтёрла, одно протянула мне.

Яблоко было сладкое и жёсткое. Наталья медленно, аккуратно обкусала огрызок, бросила в реку, и он, чуть отплыв, закрутился в водовороте. Я съела своё целиком.

– А как же... Кто ж вас спас тогда?

– Дак вот Егор и спас. Он на свадьбу-то – не пошёл, тошно ему было на братову подлость глядеть. Егор давно уж по мне сох. Так думал, любовь у нас, не совался. Честный он. А мне и невдомёк было, я ж как ослепла тогда.

Он весь день тот у тётки Глани, у бабки своей, сидел. Уж не знаю, чего он хотел, – может, утешить меня, а может, догадался, что надумаю... Только как увидел, что девки по улице к их дому прошли, так к бараку и побежал. А там уж меня не было. Он верёвку оборванную в коридоре приметил и бельё по полу... Оборвалась верёвка-то, спешила я.

Так и понял он.

...А я и не упомяну, как прыгнула, – она по-детски пожалала плечами. – Вижу только, как доску с тулупом от проруби отваливаю, заиндевел тулуп, тяжёлый. А уж после... ноги всё вниз, вниз, а дна нет, глубоко...

Потом уж очнулась, когда он меня в гору нёс. Бежал он, а меня, как куль, через плечо перевалил. Бежит, а сам всё повторяет: «Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас...» Я глаза открыла, вижу – спина. И пар от неё валит. И опять всё помутилось...

Остальное мне уж потом девчонки рассказали, сама-то я в беспомощности десять дней была.

Притащил он меня прямо в отцову избу, в горенку на кровать свалил; он уж отдельно, в горенке той жил. В избе свадьба гуляет, все повскакали, отец – в крик...

Егор тогда проём дверной руками загородил да и выдал всё разом. «Вы, – говорит, – её чуть со свету не сжили. А я молчал. Наша вина. Я выхаживать буду. Я её на хату не променяю, уйду. А как уйду – без помощи останетесь, на Витька у вас опоры нет. Решайте сами».

Сказал и дверь за собой закрыл.

Отец тогда отступился, на Егоре всё хозяйство держалось, куда без него... Так я в горенке той и осталась.

– А Витька? Он-то... тётъ Наташ...

Наталья прищурилась, глядя вдаль, за реку, потом потупилась. Хмыкнула, улыбнулась:

– Витька-то? Он – да, чегой-то там хотел, поговорить вроде... Только Егор запретил ему ко мне подходить. Навсегда запретил. Поперёк Егора тот никогда не пёр, кишка тонка. Сам он с Люсей к ней в избу ушёл, пока отец дом не отстроил. Да так и обходил меня потом кругалём, много лет.

Да и... что уж говорить, на руку им с Люсей было, что всё так устроилось тогда. Только ты не подумай, – поспешила она, будто спохватившись, – я на Люсю не в претензии! Набедовалась она с Витькой, любит она его, всё так и любит, бедная...

– А у вас, с Егором?

– У нас... Выходил он меня. Фелшер из медпункта приходила, он всё, как она скажет – делал... Ребёнка того я потеряла и целый месяц ещё встать не могла, ноги не держали. Мы промеж собой ни о чём не говорили, всё молчком. Он на полу спал, я на кровати. Так, бывало, привстанет на локте, посмотрит молча, а я – не могу смотреть, отвернусь. Оба всё понимали, чего говорить-то?

А уж как на ноги я поднялась, так стала просить, чтоб отвёз он меня на станцию, уехать я хотела. Не то что домой, а

хоть куда... Маетно мне было, не было у меня тогда места на земле.

Егор тянул, да я настояла. Запряг он тогда в сани Уголька, жеребчик такой в колхозе был, Угольком звали. Запряг, и поехали мы.

Дело к вечеру, февраль, темнеет рано. Я в санях сижу, узел обхватила, Егор впереди правит, смотрю ему в спину, а спина прямая, сердитая.

И вот, помню, едем мы через поле, дорога укатана, лошадь ровно бежит, и колокольчик ровно так тренькает «динь-динь, динь-динь». А в голове у меня одна мысль вертится: «Не туда еду, вернуться надо». И так мне тошно от этого колокольчика!

Вдруг он вожжи натянул, встали.

Стоим посреди поля, темно, тихо вокруг, только снег у Уголька под копытами похрустывает, как переступает тот с ноги на ногу. Помолчали так, а потом Егор ко мне обернулся.

«Выходи ты, – говорит, – за меня. Я тебя беречь буду. Выходи».

Я ему: «Да как же мы жить будем, если я вся порченная? Я ж тебя любить не смогу».

Он помолчал и тихо так говорит: «Ты пока никого любить не сможешь. И когда сможешь – Бог знает... А я подожду, сколько надо. Выходи».

А Уголёк-то этот – умный конёк был. Стоял он, стоял, ушами прядал, ровно разговор наш слушал... Да и поворо-

тил сам обратно, в деревню. И пошёл, тихонько так потрусил. Так и вернулись. Уголёк этот за меня всё сказал, мне и легче вышло.

Наталья утёрла рукой краешек глаза.

– Ты не думай, это я не себя жалею. Я теперь его жалею. Тяжёлую он ношу тогда взял. Ведь, почитай, так всю жизнь меня и прождал.

– Что же?.. Так и жили?

– Жили. Как все живут, так и мы с Егором – жили. И детей народилось, и хозяйство... А детям – радовались, оба тютёшкались. Оно нас и выручало в те годы – дети да земля, общая радость, общая и беда. А то бы совсем замыкались, не дожили бы. Жили... Я же, знаешь, – она повернулась ко мне, посмотрела удивлённо, – я лучше Егора человека не встречала! А всё не то у меня было к нему, что к Витьке. Всё казалось, что вымерзла я в этой проруби. Всё я, дура, назад глядела да одну жизнь к другой прикладывала. И себя судила, и его мучила. Онто меня берёт, как обещал. Ни словом не попрекнул никогда. А мне от этого ещё горше делалось. Думала, уж лучше бы озлился, ударил даже...

Дети выросли, а мы всё мыкались. Так бы и по сей день мыкались, – махнула она рукой, – кабы не та собака...

День перетекал в тихий вечер, и сосны в дальних лесах за рекой загорелись оранжевым закатным цветом. Река тоже по-вечернему притихла, можно было подумать, что и не течёт она, если бы не ивовые листики и мелкие палочки, медленно проплывавшие мимо нас.

– ...Да, собака. Вот ведь... – Наталья очнулась от задумчивости, глянула на меня. – Да знаешь ты! Витькина собака, Жюлька-то... Пристрелил он которую.

Я кивнула. Витька Зуб прошлой осенью застрелил свою собаку. Убил за то, что лаяла. Видно, ежа нашла, весь вечер лаяла на цепи. Надоела она ему своим лаем, отвёл в рощу и убил.

– Он же её ночью пристрелил. Я и не знала. Собралась я утром за шиповником в березняк сходить-собрать, а в прогулке Туличиху встретила. Она мне давай рассказывать, да я и слушать до конца не стала, тошно так... Махнула рукой и пошла. Поднялась я к роще, знаешь, там с краю-то шиповник. Стою, обираю. И слышу, скулит кто-то. Я на голос иду, а на самой опушке – Жюлька... Недострелил он её. Ползёт это она ко мне по траве и скулит. А задние лапы-то – за ней волокутся.

Не помню, как до деревни добежала, хотела Егора послать, у него ж ружьё есть, а уж возле дома самого – Витька

мне навстречу. С лопатой.

И тут как лопнуло у меня что внутри! «Стой», – кричу, – «гадина, стой!» – кричу. И как пошла я орать на него, а сама трясусь вся: «Что ж ты, скотина, творишь-то?! Закапывать собрался?! А она там живая ползает! Ты же, гад, собаку свою не добил, как и меня! Как и меня – не добил! Я же, навроде Жульки твоей, – всю жизнь с перебитым хребтом ползаю!»

Наталья задохнулась, закрыла глаза. Перевела дух.

– Вот так кричала. Он морду-то в сторону отворотил, а морда – перекошенная! Потом как рывкнет: «У меня, думаешь, хребет цельный?! Я не любовь, я жизнь свою тогда продал! Токма ты – чистая, а я...»

И рубашку так пятернёю сжал на груди... покомкал, покомкал её... Под ноги сплюнул да и пошёл. С лопатой. Зарубил он Жульку.

Я молчала.

– И я пошла. Только как в калитку входила, вижу – Егор на крыльце стоит, смотрит. Видно, он на крик мой выскочил.

Вошли в избу. Он к столу сел. Молчим. Я не знаю, что и делать. Стала на стол собирать, кастрюльку с кашей из подушек достала, а у самой руки – ходуном. Не удержала я кастрюльку... Каша – по полу. Обернулся он, глянул на кашу рассыпанную... Встал и ушёл.

Наталья сняла платок, сбившийся во время её рассказа,

расправила на коленях. Долго глядела на него. Повязала узлом назад, по-будничному, на ошупь проверила, ладно ли.

– Сутки его не было. Может, и поболее... Я тогда времени не помнила. Как села на кровать, так и сидела. И каша на полу, и огня не зажигала.

Без Егора – всё ни к чему оказалось.

А я прежде и не знала. Вот так сидела – всё он перед глазами. На что ни посмотрю – мысли к нему вертаются. На пол гляжу – там доска свежая, а вижу, как он доску эту менял, палец занозил и занозу из пальца выкусывает...

Полка над рукомошкой – он её пониже приспособил, чтобы мне сподручней. А сам каждый раз об неё стучается. Трёт он так лоб и смеётся...

Часы на стене, гляжу: вижу, как заводит он эти самые часы в первый раз. Маятник рукой качнул да на меня обернулся, прищурился, а в глазах: «Пойдут али встанут?»...

Куда ни гляну – Егор. И такая внутри у меня ласка к нему, что сижу вот так и улыбаюсь.

А как вошёл он, испугалась я. Что будет – не знаю! Поглядеть на него боюсь, глаза поднять... Встала и стою. Сказать словами, так поймёт ли?

Да и как сказать?

Потом решила, посмотрела. А там уж и говорить ничего не пришлось. Видно, всё у меня на лице было.

Подошёл он тогда. Прижал меня к себе. По голове гладит, гладит. И в макушку целует. И, слышу я, шепчет он: «Ла-

сточка моя. Ласточка...»

Тут Наталья повернулась ко мне.

Ясным, ровным светом женского счастья озарено было её лицо. И глаза смотрели на меня взглядом такой щедрой радости, такой, которая не умещается уже внутри одного человека.

– Вот так... – сказала она.

* * *

Потом уж она и утирала слёзы, и смеялась...

– Я его спрашиваю: «Какая ж я ласточка, я же седая вся?»

А он: «Я, – говорит, – тогда ещё тебя ласточкой назвал. Бежишь по деревне, маленькая, быстрая, мимо бежишь, а сзади у тебя две косички чёрные летят... Как хвостик ласточкин. Так и подумал я тогда – ласточка. Не сказал только».

Солнце уже садилось, там, за деревней. Широкая тень от холма за нашими спинами накрыла и берег, и нас с Натальей. От дальних полей за рекой стал подниматься туман. Он всё наплывал, наплывал, приближаясь к реке, и словно выталкивал на нас волны запахов: накатывал травяной запах покоса, за ним приходил воздух сосен. Река тоже задышала сыростью.

Стало холодно.

– Я же чего в церковь-то ходила? Уж год, как мы с Егором так вот живём... Нам бы венчаться, а боязно.

Наталья зябко передёрнула плечами, встала, оправила юбку.

– Идти мне пора, я ж ему сказала, что в церковь... – Она повернулась к холму. И вдруг засуетилась, смешалась...

Я обернулась. Высоко на холме стоял Егор. Давно ли он там стоит?

– Да вы идите, идите. Я ещё тут...

Наталья кивнула, хотела что-то ответить, передумала и быстро-быстро зашагала вверх по тропинке.

Подождав, чтобы они ушли, я взяла корзину с простынёй и тоже пошла наверх. В деревню нашу пошла. Поднявшись по тропинке до самого верха, я обернулась.

С холма было видно, что река уже совсем укрыта туманом.

Интерлюдия. Листва

Сколько её, листвы зелёной, в нашей жизни?

И как назвать её? Листва деревьев? Нет, просто – листва. Потому что сама она целый народ. Живёт народ этот, рождаются листья, умирают в положенный срок. И уходя из мира, уже без дерева своего, всё равно листва говорит нам, шорохом, шуршанием своим.

Много разговоров ведёт она с нами сквозь годы.

Народ листвы ненавязчивый, нежный народ. Ничего не требует, не кричит. Только разговаривает. Говорит и говорит, и не разбираем мы его речь по смыслу. А сердцем понимаем. То тревожит нас листва, то успокаивает. По-разному бывает. Всю нашу жизнь слушаем мы те разговоры.

Зелёный Шум – так назвал русский человек пробуждение весны.

Весной деревья стоят чутко. Растят внутри крону свою, готовят. Осенью трещали они на ветру сучьями, скрипели ветвями. Теперь и ветер иной, несёт он тепло, прилетают с ним запахи, весенние вести. И деревья теперь шевелятся под ним мягко, шуршат чуть опушёнными ветвями. Нет ещё на них листьев, но каждая веточка приготовилась зелёными почками.

Посмотришь теперь издали на рощу, а над ней полупрозрачным ореолом стоит зелёное обещание. Вечерами, после

заката, светится то обещание розовым. И слышно первые осторожные пробы птиц. А ещё в весенних сумерках всегда что-то журчит. Нет вроде ручья рядом, а всё равно – текут, пробираются куда-то талые воды, журчит в темноте.

Никогда не удаётся заметить, в какой момент случается настоящая листва. Всегда пропустишь. Была нежная дымка, была, а глянешь – уже листва вовсю. Пришёл Зелёный Шум.

Настала щедрость и для птиц, и для людей, и для любой твари Божьей. Поплыли волны лесов, перекатываясь с холма на холм. Зимний лес – он стоит, зелёный – волнами катится.

Закруглились шары кустов в полях, зеленоватым серебром воспряли ивы вдоль рек. Начались летние разговоры листвы.

Ивовый лист многое рассказывает. В жаркий полдень узнаешь от ивовой кроны о расветной речной прохладе, тысячи длинных шёлковых листьев сохранят её, в тени своей сберегут. Но погонит тебя ива прочь от реки, когда почувствует приближение грозы. Каждый лист вывернется серебряной изнанкой, вся крона зашумит, закачается тревогой, запахнет грозой. Уходи, человек.

Порой склоняется ива к воде, полощет свои пряди в речном течении. И шепчут те листья нам сквозь воду, зовут в лёгкий сон. Трепетно говорит ива.

А липовая крона и не говорит, гудит густым хором. Стоишь под огромным деревом, до боли запрокинув голову, смотришь на несметный народ листьев, слушаешь. И пони-

маешь, как мал ты, человек.

Шумит летняя жизнь листвою, столько её, что кажется, бесконечна она. Мы не помышляем о том, сколько живёт лист. А жизнь его коротка. И все они к зиме уйдут. Только это ещё не скоро, думается...

По ночам листва сада рассказывает о дожде, что льётся на неё с тёмного неба. Долгий это рассказ, мирный. То тут обронит слово, то там. Проснёшься, вслушаешься, поймёшь. Пусть говорит, спи.

Но настанет день, когда выглянешь в окно поутру и увидишь на кусте черноплодной рябины первый покрасневший лист. И поймёшь, что скоро они все, все листья начнут с тобой великий разговор осени. Придёт октябрь, и цветом заговорит с человеком листва.

Теперь каждое дерево само обратится к тебе, представится. Летом стоит за полем зелёный ровный лес, не поймёшь, кто там растёт. Сейчас иначе.

Вон среди тёмных елей зазолотились берёзы, а там – дубы бронзовые, оказывается. И, наконец, так весело заговорят с опушки красные осины. Порадуешься за неё, за осину. Не ценят её как-то, мусорным деревом считают. И шумит тревожно, знобко, и растёт по оврагам... Ну, вот теперь её время, самая знатная листва у осины по осени. Пусть гордится своим багрянцем, пусть трепещет им на нежарком солнце.

Смотри на этот всполох листвы, вслушивайся в её предпоследний рассказ. Теперь уж и до последнего разговора неда-

леко.

Скатится к концу октябрь, и зазвучит вся листва, вся под твоими ногами.

Шуршит она, опавшая, поначалу мягко, сонно. Листья яблоневого ещё влажные, пушисто лежат, ботинок скрывается среди них по щиколотку. Идёшь медленно, ворошишь, слушаешь, только этим и занят. А ещё внюхиваешься в воздух.

Дубовый лист укладывается густым ворохом, у него даже не запах, а дух, весомый, глубокий. Берёзовый лист пахнет легко, сквозисто. И ложится не кучеряво, а так – листок на листок, ровно застилает землю.

Полежит лист пару недель, и изменится звук. Посохнет он, зазвучит ломко.

А потом – затрещит осенняя листва в горячих кострах. Замрут ненадолго люди, глядя в огонь, слушая, думая о своём. Согреет человека коротким теплом напоследок, обдаст душистым дымом... И не станет.

Но это ничего. Это правильно. Должен пока уйти весёлый и ласковый этот народ. Сгореть в кострах, скрыться и сопеть под тяжёлыми снежными одеялами.

Потому что нет ничего печальнее маленького сухого листка, что летит по снежному жёсткому насту, цепляясь за торчащие былинки. Вон зацепился, замер. Нет, опять понесло. Бесприютный, одинокий, затерялся он здесь, опоздал.

Так что пусть уходит листва прошедшего года. Пусть белеет зима. Будем ждать новый Зелёный Шум.

Глава 4. Вася Стаканчик

В какой бы овраг я ни спустилась – бродя по дну его, то перелезая через упавшие стволы, то пролезая под ними, цепляясь за сучья, теряя и вновь находя тёмную тропинку, – я вспоминаю Васю Стаканчика. Это имя из детства навсегда связано с оврагом.

Вася Стаканчик был такой маленький мужичок в деревне. У него было странное занятие – поговаривали, что он промышлял ловлей кротов, ставил на них капканы по оврагам, а потом сдавал шкурки на мех. Бабушка страшила: «Не лезьте вы там босиком – попадёте в Васькину мышеловку!»

Ходил он всегда в ватнике, не поймёшь, засаленном или мокром, из которого торчали его тоненькие ножки в старых штанах. Штаны тоже казались влажными, и весь он был намокший-замёрзший какой-то, видно, от своих оврагов. Из ватника этого торчала и его маленькая голова, с щуплым затылком и коротким чёрным ёршиком волос. А лицо Васи Стаканчика всеми морщинками стремилось к острому носику, по бокам которого чернели глаза-бусины. Да, Вася Стаканчик был похож на кротика.

В деревне над Васей подсмеивались. Он не обижался, при встрече смешно мигал глазками и, доставая из кармана ватника гранёный стаканчик, говорил каждому: «Ну?! По стаканчику?» Лицо озарялось ясной улыбкой, и морщинки рас-

ползались поперёк. Бутылки у него никогда при себе не было. Но он – надеялся. Порой ему наливали.

Жену Васи Стаканчика уважали. Она была крупная, сердитая, в цветастом платке вокруг головы, завязанном посреди лба тугим узелком, и держала мужа «вот так!». Жили они в справном доме, построенном «на тысячах кротов», как мне, маленькой, казалось.

Однажды, встретив нас с бабушкой, он сказал: «По стаканчику?», но ошибся и достал из кармана не стопочку, а маленький капкан, вроде мышеловки. Я с ужасом глядела на его руку, представляя, как он ею кладёт в тот же карман мёртвых кротов. «Сколько же их надо на шубу?..»

Очень жалко было кротов, и я полезла-таки в овраг за деревней искать эти капканы. И нашла пять штук, вдоль ручья, под листьями сняти. Капканы были пока пусты. Вначале я хотела выкинуть их, но трогать было страшно – вдруг защёлкнет? А так оставить – кроты погибнут... И я придумала!

Побежала домой, достала коробку пластилина, так спешила, что ящичком палец прищемила! И мелькнуло: «Вот и кротика так!»

Чёрного цвета, серого и коричневого было много, они не пригождались раньше. Я вылепила пять кротов, старательно, с носиками и хвостами. Казалось – очень похоже. Сложила их в корзинку и побежала в овраг.

В общем, на следующий вечер Вася Стаканчик сидел у нас

на кухне и сердито стучал кулачком по клеёнке стола. А в другой руке, на раскрытой ладонке, лежал капкан с пластилиновым кротиком.

– Это твоя коза налепила, твоя коза! – торопливо причитал он, обращаясь к бабушке. Бабушка успокоила его, угостила стаканчиком... Кончили миром. Пришлось тогда платить за кротов, по рублю, кажется...

* * *

В конце того лета в деревне сгорел дом, соседний с Васей Стаканчиком. Сосед был его друг-собутыльник Колька Бурьян. Жил Колька вдвоём с отцом, одноногим стариком, ещё в детстве подорвавшимся на немецкой мине за деревней. Эта деревянная нога у старика была удивительным свидетельством той войны, более близким, чем деревянные красные звёзды на избах, тех изб, в которые не вернулись мужики с фронтов.

А Колька Бурьян был добрый малый, только дурной. Всем помогал, мог запросто подарить ведро огурцов, просто так помочь поправить забор... но пил. Когда напивался, лежал в бурьяне у дороги. Вот и звали его Колька Бурьян.

Дома у Бурьяна и Стаканчика стояли совсем близко.

Когда Колькин дом загорелся, Васькин тут же задымился. Бил набат, деревня выстроилась от колодца с вёдрами, но к приезду пожарных стало ясно, что Колькин дом не спасти.

Отливали дом Стаканчика.

Из открытых окон выбрасывали одеяла, стулья, тулупы, пожарные из шланга лили на крышу, а вода, не долетая до земли, обращалась в пар. Голосила Стаканчикова жена.

Ни Бурьяна, ни его отца на пожаре не было, говорили, что они с утра уехали в район.

Вася Стаканчик стоял перед своим домом, среди горы мокрых подушек, топтал их ногами и кричал:

– Сука ты, Бурьян! Через тебя всё, гадина! Чтоб ты сгорел с колченогим своим! Ах, суууукаааа!

Лопался шифер на полыхающем доме Бурьяна, куски его стреляли во все стороны, падали на Васю Стаканчика, а тот всё топтал подушки и кричал.

Дом Васи Стаканчика спасли. Догорел дом Бурьяна, и из пожарища вынули два обгоревших тела – Кольки и его отца. Никуда они не уехали. Нашли их сцепившимися вместе, видно, Колька пытался вытащить отца... да не успел.

Потом были похороны, и бабы причитали и утирались краешками платков.

Вечером после похорон и поминок шла я мимо дома Стаканчика. До сих пор пахло гарью, в августовских ранних сумерках было плохо видно, там кто-то сидел на лавке перед домом, один, и разговаривал сам с собой.

– Да что ж я... Кольк... Да как же я мог? Из-за дома, чтоб ему... Это я ж тебе смерть позвал! Я... Ах ты, как... Кольк...

Вася Стаканчик плакал и смахивал слёзы кулачком, что-

то совсем неразборчиво бормотал.

И, вздрагивая, снова тёр кулаками глаза – как маленький...
кий...

Интерлюдия. Туман

Начинается он от воды. Минул жаркий день, свечерело. Стала туманиться река. И первые полосы неясности заскользили вдоль течения.

Лёгкая дымка пока жмётся среди берегов, тянется тонкими слоями. Утекает один, выстилает по воде новый. Густеет. Вот уже не вмещается туман в русле, потёк он в луга, поплыл он среди трав, огибая лохматые кусты. Клубами заполнил вечерние низины, белым влился в сумерки. Беззвучными серыми взрывами встали в нём ивы, растерялись поля. Полосы дорог по холмам нырнули в туман, вынырнули да снова нырнули. А леса, те построились рядами декораций, ближний темнеет, за ним – ещё виднеется, дальний – чудится, а дальше нет...

Тихая будет нынешняя ночь. Перед сном обязательно выйдешь на улицу, последний раз поглядеть, как там. В темноте плавают одинокие жёлтые шары мокрого фонарного света у столбов, не пускает его туман дальше, только себя фонари и освещают. И слышно иногда, как капнет в темноте капля. Это туман скатился водой с тёплого ещё листа.

Засыпая, думаешь, что к утру развеется, а жаль...

Утром встанешь и привычно зашагаешь через комнату, по намеченным спросонья делам, выйдешь в тёмные сени, отвернёшь на ощупь щеколду входной двери, потянешь на се-

бя, откроешь дверь... А тут, оказывается, – сплошной, белый, молоком заливший весь мир туман. Ты и забыл, не ждал ты такого.

Вот и всё теперь. Пришёл туманный день, медленный. Будет всё сегодня иначе.

Даже знакомых запахов нет, одной влагой тянет и, чуть слышно, дымком. Затопил кто-то печь, да кто, где – непонятно. Из белого еле-еле видны треугольники крыш да полушарья крон деревьев, и то только самых высоких, остальное утонуло.

Притихли все. В такой день никто громко говорить не станет. А если и зазвучит где-то, то гулко, отрывисто, словно совсем издали: хлопнет калитка, долетит обрывок женского голоса: «...два кило купи и буханку чёрного...» Стихнет.

Деревня сегодня длинная стала, долгая. От избы до избы – вон как, оказывается. Лёг туман среди нас. Пётр, сосед, совсем уж напротив живёт. А теперь от забора до ольхи у дороги – еле видно, а от той ольхи до Петрова дома... уж почти не угадаешь, что есть дом тот.

И всё-то он, туман, вокруг тебя. Вроде не тут, не рядом, а весь кругом. Теперь хорошо взойти на самый верх деревни и глянуть на избу свою оттуда. Дойдёшь, обернёшься.

Блуждая взглядом, переберёшь знакомое, выплывающее вверх из молочного моря: Туличихин участок, клён кривой виден, Мурашовых, пониже, совсем скрыло, один конёк

крыши торчит... А твоего дома не видно, он, должно быть, вон там. Нет, там старый стог был, шест торчит из тумана, вокруг шеста тот стог уложен. Ты ещё дальше живёшь.

Спускаешься тихо вниз, домой, зная, что и ты будешь в тумане, таком, что не видно тебя никому. Даже камушки, выскользнувшие из-под ноги, громко шуршат, ни к чему этот шум.

Спешить нынче некуда. В туманные дни успокаивает природа человека, даёт ему передышку. Возможность прийти в себя.

Странное это выражение. Так-то мы всё куда-нибудь идём, выходит – от себя? А чтобы в себя прийти, никуда ходить не стоит, лучше, может, в траву сесть, вот прямо здесь, у дороги, среди тумана. Сесть, потеряться, в себя идти потихоньку.

Мало такого времени человеку выпадает. Ещё бывает оно в первый день наступившего нового года. Откроешь глаза: то ли утро, то ли день... И беззаботно внутри, потому что знаешь, что никто сегодня никуда не спешит, и ты можешь медленно. Можно в плед завернуться и что-нибудь доесть из вчерашнего, можно у окна час простоять, глядя, как снег всё летит и летит мимо фонаря за окном. И так до самого вечера, синего, беспечного, засыпающего в длинную январскую ночь.

Нужно человеку порой уgomониться. Много гомона в жиз-

ни.

Вот и туманный день наступает обычно после ярких, погожих, пересыпанных летними шумными заботами.

В тумане всё по-иному происходит. Каждое дело отдельно делается, целая затея в нём. Пойдёшь к ручью за водой, собака с тобой увяжется, так всё глядишь, как бы собаку не потерять. И сама она трусит рысцой в пяти шагах, то насто-роженно вглядывается в невнятное, что маячит впереди, то на тебя оглянется. Затемнела купа кустов у ручья. Ближе, ближе подходим. А куст один тоже поплыл нам навстречу. Замерла собака, взбрехнула глухо, испуганно.

Человек это – сосед наш идёт. Отлегло от сердца.

С грибов возвращается, вон, полную корзину собрал. Собака опомнилась, заулыбалась, виновато мотая опущенным хвостом, завиляла вокруг знакомого.

Сосед довольный, мокрый по пояс, в полях нынче сырость. Промок, зато набрал. И как не побоялся по такому туману бродить... Оно понятно, он тут с рождения живёт, не заблудится.

Проплывёт этот день через жизнь деревни, у каждого по-своему. Вечером соберутся на террасах, чаёвничать, станут обсуждать, что за день случилось. У тётки Анны коза заблудилась, так насилу нашли. Творог, оказывается, привозили, машина-то сигналила-сигналила... А полдеревни творог прозевали, разбрелись кто куда, без творога остались. Но ни-

кто не в претензии, не ворчат. Успокоил людей туман. Отхлебнув чая, поглядывают в окна, прикидывают, обсуждают, куда погода повернёт.

А на улице-то, глядишь, и нет уже никакого тумана. Никто не приметил, как он исчез. Темно и ясно небо. Звёзды глядят. Завтра за грибами пора.

Глава 5. Ружьё

– Босоножки-то?.. Это тебе деда Миша зашьёт. Если возьмётся... – сказала наша хозяйка.

И пошла я в конец деревни, к деду Мише, сапожнику. Жили они с бабой Маней одни, детей не родилось. Изба стояла не огороженная, на холме, сбегавшем прямо от порога зелёным раздольем вниз, к ручью. Ах, какой хороший у них был дом!

Ничего-то особенного в нём вроде. Ну, серая изба. А так всё к месту прилажено, всё в меру. Была тут спокойная уважительность к каждому предмету, пусть старому, служивому, но нужному. Другие ничего не выбрасывают, всё тащат, и навал выходит, бесхозность. А у них хозяйство малое и заботливое. Вот стоит у венца избы кадка с маргаритками, ей сто лет, поди, а каждая досочка ровная, и выпавшая, вон, новой плашечкой заменена. Дальше трава просто вдоль сруба, но подкошена она коротко, бабой Маней. Раньше, в колхозные времена, на покосе ровней и скорей её ни одна баба не шла.

И стелется эта зелёная дорожка за дом и между тремя старыми яблонями, там, где у других обычно лебеда-бурьян. Ветви лишние обпилены, побелены, а какие подпёрты слегами. Обернув дом, травяная полоса бежит мимо ореховых жердей, с надетыми для просушки банками, возвращается к

крыльцу. Оно высокое, с протёртыми посередке досок лунками и отмытое добела. Рядом с их домом даже сорванный одуванчик задумаешься, куда бросить.

Жили они тихо и разговаривали промеж собой неспешно, не так, как другие в деревне.

Одна беда: посреди лба у деда Миши росла большая шишка. Опухоль эта была как пробка от бутылки, обтянутая кожей, и выглядела страшно. По ночам шишка у деда болела. Болела она так сильно, что, проходя затемно мимо избы, я слыхала, как дед стонет, а иногда и кричит. А ещё ему было больно нагибаться, и ходил он всегда с высокой палкой, которой поддевал с земли нужную вещь.

Деревенские его сторонились. Шишка ли была тому причиной или что-то другое, я не знала, но настороженность чувствовала. Дед был хороший мастер. И часть деревни чинилась у него, а другая – носила обувь на станцию, аж километров за пять.

А дружить с ним вообще никто не дружил. Деда Миша в общение не лез, если кто заговорит – улыбался и отвечал ласково. На деревенских сходах стоял он позади всех, опершись на свою высокую палку обеими руками и подбородком, слушал. Потом медленно уходил к себе. И жил, соблюдая то, что порешат.

Мимо я ходила часто, а вот за починкой отправилась в первый раз.

Дед сидел у крыльца под кустом белой сирени, на длинной некрашеной лавке. Опрятная рубашка застёгнута на все пуговицы и заправлена в штаны. Фуражка сдвинута на затылок, не налезает она на шишку. Лицо у деда Миши спокойное, с носом картошкой и очень большими голубыми глазами. Глаза такие широкие, кажется, что он всё время удивлён. Между колен зажат сапожный станок, с ботинком.

Дед закрепил нитку узелком, резакотом отхватил лишний кусок кожи, снял ботинок и, покрутив в руках, поставил на лавку. По левую руку от него стояло три готовых пары, а на земле лежала горка нечиненого. Палочкой он поддел оттуда туфлю, взял в руки.

– Здравствуйте, деда Миш. Вот – порвались...

Дед долго поглядел на меня, как-то сквозь. Опустил глаза.

– Не возму работу, – он насупился и даже сердито повторил: – Не возму.

– Так тут немножко...

– И иди отсюда! И... и не проси даже! – он замахал на меня туфлёй. – Уходи, говорю. Нечего тебе тут...

Я поскорее ушла. Странно это было – такой мирный дед... и прогнал?

– Не взял? – хозяйка кивнула на босоножки в моих руках. – Ишь... От греха тебя бережёт.

– От чего?

– От того, от греха своего. – Она разогнулась над тазом

со стиркой, сердито стряхнула пену с рук. – Не моё дело, и хватит тут разговоры говорить, – обрезала она и ушла в дом.

* * *

В воскресенье позвала меня тётя Маруся, староста деревенская, с мобильником помочь ей разобраться – «сын сообщение прислал, а я никак не отвечаю...». Сидим мы на брёвнышках перед домом, а мимо – деда Миша с бабой Маней по дороге идут. С палочками оба, размеренно, видно, что далеко собрались.

– Вон, пошли... Старые уж, ноги – никуда, а всё ходят! – Маруся была баба болтливая и злая на язык.

– А куда они?

– Да в храм, служба ведь сегодня в Лужках. У нас-то – по праздникам только служат, а в Лужках каждое воскресенье. Уж сколько лет ходят. Всё грех Мишкин отмаливают! Отмолишь его, как же...

– Какой же грех?

– Да ты, почитай, всю жизнь в деревне живёшь, дачница, а не знаешь?! – Маруся села прямо, разгладила юбку и, нехорошо улыбнувшись, хлопнула по колену рукой. – Убивец он, деда Миша. Расстрельщик.

Я молчала.

– В людей он стрелял, по приговору. Их, братьев, двое было, он и младший, Григорий. До войны ещё оба они в армию

пошли, в один призыв, я тогда девчонкой была. Вот они вместе в войска НКВД и попали. Григорий, тот сильно верующий был, а его – возьми да назначь на расстрелы эти. Мишка-то за него и вызвался, самый грех на себя взял. И расстреливал! Приговор в исполнение приводил. Тогда в затылок стреляли, в коридоре специальном. Вот и стрелял! Уж и не знаю, сколько душ на нём...

Маруся остановилась перевести дух. Слева, на дороге, ещё виднелись удаляющиеся старики.

– А как вернулись они, Мишка-то пил сильно, да выпимши всё плакал. Вот тогда-то у него ружьё и выперло! – Маруся постучала пальцем в лоб. – А ты думала?! Ружьё это. Аккурат там, где пуля проходит, оно и выросло, прямо дулом вперёд и торчит. Это грех его пророс! Сам он говорил, да вся деревня знает про то. Так с грехом своим весь век и ходит, перед народом! – Маруся отчаянно развела руками, показывая, как ходит.

Помолчали...

– А брат? Где он?

– Григорий? – Она махнула рукой. – Так вскорости война пошла, их обратно в армию позабирали. Вот Григорий и погиб. А Мишка живой остался. Дождалась его Маня, так он и пришёл, целый. Тихий стал, стороной живёт. Он вроде как заразным себя считает, людей от греха бережёт. Кто им брезгует, а другие – ничего, обувь чинить носят. Мужиков-то в деревне не осталось, а этот вот – уж семьдесят годков с

лишком, а всё с грехом ходит! – сердито повторила она.

– Я ему босоножки носила, не взял он...

– Так потому и не взял! Он завсегда различает, кто со знанием к нему пришёл, а кто так, сдуру. Говорю ж, людей бережёт. Теперь вот сходи, если решишь, твоё дело...

* * *

Он сидел там же на лавке, с работой. Глянул на меня, чему-то кивнул...

– Опять пришла? Ну, давай их. Сама раз решила...

Деда Миша подвинулся, предлагая место:

– Тут, гляжу, токма подошва да хлястик вон... Обожди, сразу сделаю.

Дед взял коробку с дратвой, стал примерять нитку, ища годную по толщине.

– А неизвестному человеку рядом со мной нельзя, – спокойно заговорил он, роясь в коробке, – инфекционный я. Зачем людям это, не нужно оно совсем. Грех такой... Коли сам уж человек, знаемо, придёт – другое дело. – Дед выбрал нитку. – Эта вот вроде подходит, крепко будет.

– А как вы... узнаете?

– Так намостырился уж за жизнь разбирать по лицам. С таким стыдом ходить – поймёшь, кто знает, кто не. – Он поглядел перед собой, неловко улыбнулся. – Взгляд другой становится. Внимательный.

Дед ухватил конец дратвы, прицелился, шурясь в иглу, вдел. Начал шить.

– Да ты меня не чинись, растревожить не бойся. Я каждый день с этим встаю, с этим и ложусь. Вон она где у меня, память-то, сидит.

Он оставил работу и пальцем потрогал шишку.

– А тому, что говорят, будто брата я выгораживал, – тому не верь. Это Григорий врал, что я за него вызвался. Меня назначили, я и стрелял. Жалел он меня очень. Добрый человек был, Бог его-то прибрал, да от меня отказался. Теперь рассуждаю, что мне же и в науку – живи вот, думай. Так что убивец я. Он самый и есть. Убивец.

Деда Миша говорил медленно, в лад стежкам. И так просто, как про вчера. Словно доставал из коробки, из-под руки.

– Спужался я тогда сильно. Откажешься, так самого и стрéльнут, как дезельтира. Оно строго было. И дрожит всё внутри, и подсказывает, что, мол, может, и ничего, может, верно оно, коли приговорили, и должен кто-то исполнять, раз народная власть решила. Да разве ж себя обманешь? Всё одно знал, что грех. И ведь что ещё думал?.. – Дед поднял морщинистую руку с зажатой иглой, потряс в воздухе. – Красота вокруг, весна, нас уж отпустить должны, по домам, значит, а сады вот зацветут со дня на день, а я-то и не увижу, как откажусь. Вот так думал.

Он снова склонил голову к работе, с усилием протыкая иглой трудный кусок.

– И пошло... И пошёл. Я на должности этой неделю и пробыл, а там уж службе срок вышел. Ведь на то сердце и надеялось, когда страхом дрожало. Молодой был, думал, исправлю потом, как-никак. А это, мил, разве чем исправишь? Жизнь, она цельная, её вот так вона, – он похлопал по подошве, – не нановишь.

Деда Миша срезал нитку, зубами подтянул узел накрепко, ещё обрезал...

– Миш! Ты огурцы укрыл, что ли? Заморозок обещали... – раздалось из открытого окна избы.

– Укрыл уже. Слышь, укрыл!.. Глухая она стала у меня... – добавил он тихо, прилаживая на станок другую босоножку. – ...Вот и вышло, что не нановишь. Поначалу-то рвался, думал – перемогну, горькую тоже пил, кричал. Маня вон сколько вытерпела... А как шишка-то, ружжо моё выперло, так понял, что носить мне его, пока жив. Навроде ордена перед народом, во. Опамятовался я тогда, утих, значит, да всё на войну надеялся, думал, заберёт она меня. И то не вышло...

Порыв ветра зашумел в кусте сирени, зашевелил траву. Дед мельком глянул на небо.

– А вышло то, что мысль эта мне думается цельную жизнь. По ночам теперь умереть хочу, терпежу не хватает. А утро встанет, всё живу, даже радуюсь. И болит душа грехом, и тем же местом она, душа, красоту принимает. Красота во-круг ведь какая!

Он сильно махнул головой на холм, ручей... и заморщил-

ся от боли, от резкого движения. Замер, потом осторожно подвинулся на лавке, ища положения телу, снова взялся за иглу.

– И так выходит, что всё в ней вмещается, в душе-то. И места хватает. А где она сама есть, не изучили ещё. Я вон сколько ею маюсь, и не пойму, где она у меня, душа эта... Ну, гляди, готовы твои, кажись.

Он взял обе босоножки, вытянул руки вперёд, осмотрел пару и, хлопнув подошвами, протянул мне:

– Держи вот. Ещё поносишь.

Я поблагодарила и неловко расплатилась. Деда Миша тоже засмутился, заторопил меня:

– Надувает вон... Беги, пока дождя нет.

Я пошла.

Когда спускалась с холма, налетел порыв ветра. Отвернув от него лицо, я увидела, что деда Миша ещё сидит на лавке, собирает инструмент. Ветер трепал сирень у него над головой, и с неё сыпались белые звёздочки. Они падали на фуражку деда. Он снял её и медленно отряхивал...

Интерлюдия. Птицы

Слетелись они и загалдели по полям, по рощам.

И столько их, что сразу понятно: хозяева вернулись.

Весь день, кувыркаясь на ветру, разбираются, кому где сесть. Сейчас не до песен им. Ругаются, щебечут, курлыкают, верещат.

Маленькие синицы целой гурьбой засели в сосне и всё спорят и спорят с толстой сорокой. Сорока не выдержала, улетела-таки, поспокойнее место искать.

Потом гордо прошествовала по небу огромная серая цапля, наискосок, размашисто, медленно. А напоследок крикнула страшным своим клёкотом. Крик у цапли жуткий. Улетела.

Дрозды вон бестолково носятся весь день туда-сюда. Бултыхаются в воздухе, дерутся. Но всё же разобрались к вечеру, стихли.

И ветер стих на закате. Уже в сумерках вышла я за дом, к тлеющему кострищу. Чуть дымит кучка сыроватых прошлогодних листьев, мигает в глубине огоньком. Тихо.

А потом, в тишине, странное шелестенье-хлопанье зазвучало. Где это? Это в небе. Задрала голову: гуси надо мной летят, ровным косяком, шеи тянут, всхлопывают крыльями мерно. Перекликаются негромко, потом опять затихают, только взмахивают сильно. Слышен шорох в их перьях: шух,

шух...

Сейчас скроются. Почти успела сосчитать: семнадцать или пятнадцать...

Ну что ж, все уж вроде вернулись? Ан нет, не все.

У нас за домом, на крытом дворе каждый год селятся две ласточки, муж и жена, живут, птенцов растят. Так вот они ещё не явились, задерживаются что-то.

Другие-то ласточки уж слетелись, на чердак заселились. Да тех, чердачных, я не различаю. А этих двух в лицо даже знаю, и мужа, и жену. Жду их каждый раз, думаю: «Они же полгода так же у каких-нибудь египтян живут, под какой-то крышей. Тоже семья там, небось, как и у нас, только смуглые. Вот я их, ласточек, знаю, а они – нашу семью знают и тех, египетских. А те, египетские, ласточек знают этих, а нас – нет. Египтяне их, наверное, тоже любят, ждут, пока они тут...»

Когда они возвращаются, я радуюсь. А они сидят на верёвочке под крышей, прижавшись друг к другу, обдрипаные такие, худенькие. Будто сомневаются – так посидим или уже строиться будем? Устали. А потом ничего, отъедаются. И птенцов у них всегда полная мазанка.

Что-то они в этом году запаздывают... Может, случилось что? Я уже волноваться стала.

И вдруг – прилетели!

Но нет, не прилетели, а только одна, одна она прилетела. И сидит на той верёвочке, нахохлив красную шапочку, и ждёт.

А он-то где? Где ж ты его потеряла?! Молчит. Вылетит на улицу, поносится за мошками и снова – на верёвочку, против пустой мазанки сядет и ждёт. И не спросишь же, что случилось. Отстал он, погиб?

Проходит неделя. Началась другая. И сердце у меня совсем не на месте.

А она всё сидит грустная, даже строиться не начинает. И другого мужа себе не ищет, бедная.

Зашла я вечером на двор за дровами, привычно посмотрела под крышу... А там – двое их. Вот он! Облезлый совсем, одно крыло короче другого, притулился, голову на спинку её положил и спит. Догнал, значит, долетел-таки!

Тихо взяла я дрова и ушла.

Утром они уже весело носились туда-сюда, с прутиками в клювах, подновляли гнездо, выпархивали в дверь прямо над головой. Я загляделась на их шнырянье. И вдруг они сели рядом на ту верёвочку против меня, замерли, а потом стали по очереди что-то тихо чирикать, на меня глядя. Я постаралась осторожно поддержать разговор, сказала, как их люблю, как рада его возвращению, живите, мол...

А сама думаю: ведь они мне рассказывают, что у них случилось. А я ни слова не понимаю! Так и не узнаю их историю.

Прошёл день. И ночью зазвучали вокруг птицы таинственные. Филин ухает за церковью, в ольшанике: загадочное и протяжное «ух-хууу». В темноте оно спокойно так звучит, а заканчивается чуть грустно – «ууууу».

Сова из терновника ему отвечает. Она не так весомо говорит, у неё торопливое «угу-ух».

Филин выслушает. И снова своё.

Вдруг раздалось из терновых кустов чёткое такое хлопанье, звучное. Будто кто-то себя по парусиновым штанам ладонями хлопает. Это сова филина пугает, специально вот так крыльями схлопывает. Попугала-попугала и взлетела на охоту. Прошла низко, совсем над моей головой, напугала и меня. Белая, широкая, а летит призрачно. У неё над нашей тропинкой своя тропа, воздушная, между ивами и туда, за деревню. В темноту полей.

Замерла тишина. И вдруг из оврага, из самой черёмуховой непролазности – защёлкал, защёлкал, перекатил, стих...

Помолчал. А потом как полил трель, как на вдохе одним заиграл переливами, щелчками, высвистами. И всё не вдохнёт и не вдохнёт, как воздуха-то ему хватает? Маленькая ты птичка, неказистый ты, соловушка.

Соловейная ночь сегодня, первая за весну. Ноги уж намокли в травяной росе, холодно, а всё никак не уйдёшь в дом, всё стоишь в темноте.

Глава 6. Без Зинки

– Ведь всё уж поклат! Всё! И даже полати, и под выюшку щель оставил, ну уж всё! Так вот надо ж, чтоб эдак...

Семён стоял передо мной на крыльце, мял в измазанных глиной руках кепку с выгоревшим «адидасом» и почти плакал.

– А что случилось-то? Ты ж ещё вчера вроде доделывал.

Семён был печник, и мастер чудный. Печи выходили у него мировые. Ровные, топились ладно, дров ели мало, жар держали – больше суток. Сокровище, а не печник.

Сейчас клал он печь Боре Ефимову, художнику, тот дом в деревне купил. Русскую, разваленную, разобрали, Семён ему голландку ставил. Она компактнее, и дров меньше уходит. Дело-то к концу уж шло...

– Да и доделал бы, кабы бес не попутал! Я ж знаешь сколько их за лето уложил?! Власовым две поставил, Вадиму тож, Гульковым, – Семён сунул кепку в карман пиджака, торопливо загибал пальцы рук, его трясло. – Теперь вот – Боряну! И все справные, чтоб брак там али криво, это – ни-ни...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.